

Ссылка на материал: <https://ficbook.net/readfic/1530446>

Ольга. Оля. Оленька.

Направленность: Гет

Автор: УРАНіБОРЩ (<https://ficbook.net/authors/22913>)

Фэндом: Hetalia: Axis Powers

Пейринг или персонажи: Австрия/Венгрия

Рейтинг: R

Жанры: Ангст, Драма, Психология

Предупреждения: Нецензурная лексика

Размер: Миди, 20 страниц

Кол-во частей: 4

Статус: закончен

Описание:

Черт привел родиться сестрой такому брату.

Рассказ о непростых взаимоотношениях двух женщин с двумя мужчинами.

Посвящение:

Посвящается NKVD =)

Публикация на других ресурсах:

Уточнять у автора/переводчика

Примечания автора:

Можно читать, как вбоквел "Стены", можно читать отдельно.

ТОС

ТОС	2
I. Отражения.	3
II. Домыслы.	9
III. Ожидания.	14
IV. Вопросы.	17

I. Отражения.

*Ой, маменька, голова болит.
Ой ли, ой люли, голова болит,
Голова болит, гулять хочется,
Ай ли, ой люли, да не можется.*

*Сердце моё горячо, любить хочется,
Ай ли, ой люли, да не знаю, кого.
Я во поле пойду, где солнце катится,
Может, во поле он мне встретится.*

За высокими окнами было непривычно светло. Цокот копыт, дребезжанье карет, скрип калитки, смена караула. Каждый звук, каждый отголосок заявлял о себе сочно и звонко, как бывает только ночью. Каждый блик, каждая тень, даже сероватое небо над головой как будто насмехались над тщетными усилиями человека имитировать ночь и водружали на земле внеочередной день.

Что-то о позднем часе бормотала прислуга. Не вслушиваясь в сонное ворчание, Ольга поднялась по лестнице и, миновав проходную комнату, приоткрыла двери кабинета.

— Здравствуй, брат.

Иван отвлекается от беспорядочной свалки документов и писем. Глядит на неё. Он, против обыкновенного, забывает улыбнуться и поздороваться. Глаза покрасневшие, чуть воспалённые, но без тени усталости.

— Ваня, если долго не спать, можно спятить, — с напускной наставительностью говорит Ольга и, словно услышав себя со стороны, понимает, что реплика вышла скорее усталой, чем шуточной. Но брат всё же улыбается и начинает суетливо что-то искать на столе. Хотя суетливость, пожалуй, не совсем подходящее определение: человек посторонний увидел бы лишь лень и неторопливость.

Странное дело, эта комната гораздо темнее прочих: то ли портьеры крадут слишком много света, то ли сам свет иногда забывает сюда заглядывать. Ольга зажигает свечи, про себя ругая прислугу, вместе с тем прекрасно понимая, что те едва ли в состоянии сладить с дурными привычками брата. Впрочем, кто осмелится? То, что она делает сейчас — определённая вольность, возможная только в тесном кругу семьи. Пусть даже такой своеобразной. Сложной.

Ольга движется плавно и неспешно, не торопится. Хорошо бы управиться к тому моменту, как Иван разыщет то, что ему нужно. Хорошо бы успеть стать спокойнее и подавить едва ощутимую, но навязчивую тревожность. Хорошо бы.

Это всё белые ночи.

Ольга их не любила: природа будто сама себе перечит, себе же во вред нарушает свои правила.

Ольга не любила ничего, что походило на брата. Одного Ивана ей было вполне достаточно.

— Что на сей раз? — спрашивает она, устраиваясь напротив. Посетители здесь были редкостью, да и те старались не рассиживаться. Именно об этом и проскрипело кресло, чуть просевшее под своевольной гостьей.

— Ничего нового, Оля, ничего. — Иван вертит в руках бумагу, тяжеловесно украшенную гербовой печатью и императорской подписью. Только подумать, он искал её так долго, будто это третьесортная жалоба столетней давности.

— Тем не менее, зачем-то я здесь.

Иван переводит взгляд с указа на сестру и смотрит долго, выжидающе, видимо, полагая, что фраза будет иметь продолжение. В такие минуты Ольга понимает, насколько они похожи: глаза, губы, жесты. Иногда ей кажется, что она его отражение, только более мягкое, податливое и всё же неотделимое. И всякий раз в голову приходят непрошенные мысли о том, что всё должно было получиться иначе, наоборот. Это он, Иван, должен быть её отражением. Капризный мальчишка без царя в голове, не воспитанный должным образом, не подготовленный к той роли, которую осмелился урвать.

Ольга отводит взгляд и закрывает глаза. Плотнo-плотнo, отгоняя прочь нахлынувшие чувства.

— Государь изволит оказать помощь Австрии в усмирении Венгрии, — в напряжённой темноте сомкнутых век голос брата звучит мягко и успокаивающе, удивительным образом расходясь со смыслом сказанного.

Ольга снова смотрит на Ивана и понимает, что голос противоречит не только произнесённым словам, но и собственному хозяину. В выражении лица Ивана смешались болезненная уязвлённость, злость и иступлённость. Сколько он уже не спит: день, два, неделю? Таким же он был четырнадцатого числа и в следующие дни, пока длилось утомительное, нервное следствие по делу декабристов. Обеспокоенные визиты наносили то Франсис, то Артур — в Петербурге тогда перебивалась уйма народу, и всем было крайне интересно узнать, какие же последствия повлечёт за собой это маленькое, но крайне чувствительное восстание. Тогда Ольга изо всех сил пыталась понять причину этой двойственной ревности: и нездоровый азарт на допросах, проводимых императором лично, и остервенелость, с которой Иван отстаивал бесспорных виновников.

Что же происходит сейчас? Откуда это желание, эта прыть: стремление раздавить то, что удалось другим, но не вышло у него? Не смог сам — не позволю другим, так получается. И как всё это уживается с бессознательным отторжением императорской воли, с тем, что указ погребён под прочими бумагами, будто это могло стать веским поводом для неподчинения?

— И когда же ты отправляешься? — Ольга позволяет себе изобразить непонимание, надеясь тем самым выдать из брата ответы на незаданные вопросы, объяснения, которые напрямую не получить.

— Не я, а ты, Оля, — снисходительно поправляет Иван, словно не замечает сестринской уловки, — к Елизавете наведаешься ты.

«Наведаешься... Нашёл ведь словечко. И сколько батальонов мне выделяют в свиту?» — мысленно усмехается Ольга и решает перейти в открытое наступление.

— Отчего же ты не пойдёшь, Ваня? Неохота?

Иван хмурится и привычным движением, не глядя, копошится в стоящей на столе за книгами (так, чтобы не было видно посетителям) банке, на ощупь выбирая конфету. Ольге всегда казалась нелепой иванова привычка грызть сладости, занимаясь государственными делами. Эдакий пережиток детства, упрямое нежелание взрослеть.

— Мне и здесь забот хватает, — похрустывая леденцом, отвечает Иван, — у меня, если помнишь, большое строительство. Хорошие дороги внимания требуют.

С внутренним содроганием, ставшим почти привычным, Ольга наблюдает, как брат снова берётся за указ пальцами, наверняка липкими от сахара. Как будто неверно истолковав взгляд сестры, Иван, спохватившись, предлагающе протягивает банку и ей.

— Лучше бы от дураков сначала избавился, — вздыхая, ворчит Ольга, отмахиваясь от леденцов.

— Зачем? Умные, конечно, хороши, но тем плохи, что всё не в том направлении норвят дороги строить. Тебе ли, Оля, не знать.

— Когда мне отправляться? — отводя взгляд, Ольга невольно отмечает, что брат улыбается тому, как она поспешно оставляет без внимания его предположение.

— Чем раньше, тем лучше. Родерих уже всерьёз опасается, что жёнушка переломает ему музыкальные пальчики, — с лёгкой тенью насмешки бросает в ответ Иван и, кажется, хочет добавить что-то ещё, но замолкает, ждёт, что же ещё скажет сестра.

Насмешка... на миг Ольга усомнилась, кому была адресована эта насмешка. Австрийцу? Мужчине, не способному удержать женщину в семье? Или ей? Ещё одна маленькая шпилька, напоминающая о том, что и она, и Наташа всегда будут на своём месте, при брате?

«Мальчишество, — пытается отвлечься от невесёлых рассуждений Ольга, — так или иначе, всё это чистой воды мальчишество».

— В общем, — продолжает Иван, так и не дождавшись от сестры ни просьб, ни вопросов, — возникнут трудности — пиши.

— Вот ещё. Что я, с одной бабой не справлюсь?

Вот ещё... вот ведь. Против воли попасться на такую глупую уловку, быть обиженной предположением о том, что не хватит сил. Справится она, конечно.

Только вот хочется ли?

Выходя из кабинета, Ольга слышит, как с шорохом переваливаются конфеты в банке, как брат похрустывает очередным леденцом. Она чувствует, что, престав прятаться за указы и протоколы, Иван смотрит ей вслед. И почему-то подумалось о том, что ей, как и всем прочим, едва ли доводилось перехватывать долгий взгляд, которым Иван провожает людей. Закрыв глаза, Ольга пытается представить этот взгляд в отражении, пытается увидеть себя. Запнувшись на ходу, она едва не падает, но вовремя хватается за перила. Всхлип, прервавшийся смехом.

За высокими окнами непривычно светло.

Тот разговор случился несколько месяцев назад. Несколько месяцев, в течение которых они с Родерихом по всей стране гонялись за Елизаветой. Необычайно жаркое лето, добела раскалённое солнцем и артиллерией. Австриец, страстный ценитель музыки, сам теперь был похож на расстроенное пианино. Нотки задетой гордости и злости то и дело перебивались нервными аккордами непонимания и одиночества. Казалось, он напрочь растерял свой знаменитый музыкальный слух, растерялся сам и теперь то и дело играет не в такт, разменивая победы поражениями.

*«Дорогая Ольга,
Разгромили венгров под Темешваром. Видел Елизавету. Знаю, скорее всего, это покажется Вам диким и странным, я находился далеко, при мне не было подзорной трубы, но я уверен, что видел именно её. Видел, как она отступала.
Я снова упустил её.
По моим предположениям...»*

Не став дочитывать до конца, Ольга отложила лист. Чем дольше продолжалась война, тем меньше в письмах сообщал Родерих о раненых и убитых, тем больше становилось в них скупых, но не случайных фраз о Елизавете. Так или иначе, полученное этим вечером сообщение уже не имело смысла: Елизавета спала в соседней комнате. Без торжественных фраз о том, кто победил, а кто потерпел поражение, без обвинений, без слёз или злости — она сложила оружие, она вернулась так, будто была на прогулке. Затянувшейся и крайне утомительной. Чуть растрёпанная, похудевшая, со спокойным лицом, какое бывает у женщин, уставших доказывать свою правоту. «Хорошо выглядишь, — сказала ей тогда Ольга, — хоть сейчас на костёр». Елизавета в ответ лишь усмехнулась. С той минуты они и не разговаривали вовсе.

Наверное, стоило выделить охрану, организовать некое подобие ареста, однако Ольга не видела в этом смысла. Казалось, что не будь её здесь, Елизавета продолжала бы бегать по своей стране ещё не один год. Даже если бы силы были на исходе, даже если бы людей совсем не осталось, она бы делала всё возможное, чтобы не сдаваться

Родериху. Ольга не раз спрашивала себя, правильно ли поступает, позволяя противнице эту игру манёвров, отказываясь навязывать одно за другим решающие сражения? Ведь со всем этим можно было покончить гораздо быстрее.

Что скажет брат? Внутри семьи, несомненно, даст понять, что недоволен проволочками и нерешительностью, но за пределами непременно заявит о блестящих успехах российской армии. С другой стороны, так ли уже важно, что скажет Иван?

Иногда гораздо хуже поражения оказывается победа, которая не кажется абсолютной. Ольга взяла чистый лист и подтянула чернильницу. Рассуждать можно было до утра, но чем скорее она сообщит всё Родериху, тем лучше. Скрипнула дверь.

— Проснулась? — не поднимая головы, спросила Ольга.

— Совесть замучила, — с насмешливым раскаянием бросила в ответ Елизавета, присаживаясь рядом.

— Письмо пишу Родериху, — опережая возможные вопросы, пробормотала Ольга, не довольная тем, что пленница так не вовремя заявила.

— Какое письмо?

Что это, встрепенулись нотки негодования?

— Любовное, разумеется.

— Вот оно что. Тогда не забудь написать, что в сражениях он искусен так же, как Моцарт в музыке. Родерих это любит.

— Непременно.

— И не забывай про пунктуацию. Ошибки он терпеть не может.

— Естественно.

— И держи спину ровно: по тому, как написано письмо, он всегда видит, сутулилась дама или нет. Он не любит, когда женщины горбятся.

Оставив елизаветино фиглярство без ответа, Ольга сосредоточилась на письме. Слова шли трудно: странно писать о человеке, когда тот находится с тобой в одной комнате. Ольга чувствовала рассеянный взгляд Елизаветы, следящий за её кистью, кончиком покачивающегося в такт появляющимся на бумаге буквам пера. Так наблюдают, не желая прежде времени подсмотреть написанное, но уже зная о том, что будет написано.

— Я не поеду к нему, — бросила Елизавета, едва Ольга закончила последнюю строчку, — а если он приедет сам, я опять...

— Не дури, Лизавета, — внезапно рассердившись, перебила Ольга и принялась посыпать песком не просохшие ещё чернила.

— Не хочу его видеть.

В таких ситуациях дамам положено плакать или кричать. Ольга не была уверена, как повела бы себя на месте Елизаветы. Она знала лишь, что именно это сейчас и происходит с Елизаветой, незаметно, неслышно. Вон, как рыщет взглядом по комнате: то ли разгромить всё хочет, то ли спрятаться.

— Хочешь, не хочешь — это уже не моя забота. Будешь бесноваться — свяжу.

Разговор Ольге перестал нравиться совершенно. К тому же, она совсем забыла про письмо, засыпав не только лист, но и стол, отчего разозлилась на себя ещё больше.

— Я уже вдоволь за тобой по степям набегалась, будто у меня других дел нет.

— Что такое? Боишься, братец заругает? — не скрывая насмешки, изумилась Елизавета.

Ольге эта провокация показалась наивной и глупой: в конце концов, девица только что сложила оружие, девица не в себе.

— Караульный! — выйдя из дома, окликнула Ольга, невольно вложив в одно слово всё, что скопилось внутри. — Доставьте это письмо Родериху лично в руки. Я уезжаю.

— С пленницей что делать?

— Связать и глаз с неё не спускать.

— Толку от верёвок, сбежит же. Бесноватая.

— Шкуру спущу, — удивляясь всплеску ярости, прорычала Ольга, ухватив солдата за воротник. Сбежит? Пусть бежит... в Сербию, в Турцию — хоть к чёрту на рога, куда угодно. Это уже не её дело.

Занималось утро, впереди ждал Петербург.

II. Домыслы.

— Ольга, бог... мать твою, сколько ещё ты с ней возиться будешь? — иссушённый хрипом и помехами, голос брата кажется незнакомым и совсем чужим. Такой же чужой и посторонней видится Ольге собственная рождённая усталостью язвительность:

— Как платьице выберу, так тотчас схожу и возьму Будапешт. Тут ещё Вена рядом, брать?

На другом конце линии оглушительно грохочет, а потом внезапно умолкает. В трубке тихо: треска не слышно, будто связь оборвалась. И тишина эта, вырываясь за пределы телефонного разговора, стремительно поглощает, обеззвучивает и комнату, где стоит Ольга, неудобно приткнувшись между захламлённым бумагами стулом и посеревшим от пыли подоконником, и улицу за окном, где совсем рядом стоят двое в форме, покуривают и шутят, шутят беспрестанно. От нервной усталости их шутки кажутся излишне похожими на правду. Вот первый открывает рот, смеётся, но в распахнутую форточку не доносится ни звука, только запах талого снега и горелой земли.

— Ольга? Оля! — снова выныривает из тишины голос. — Не слышу тебя, что ты там говоришь?

— Голос, говорю, у тебя уставший.

— Долго возишься, — снова повторяет Иван, игнорируя последнее замечание, — кто ей помогает? Ты уверена, что она сама всем командует?

— Уверена, — Ольга отвечает прежде, чем брат задаст следующий вопрос, и ещё один, и ещё; прежде, чем его голос истончится и зазвенит от одержимости и безумия. — Абсолютно уверена. Нет здесь немца. В конце концов, одного брата ты взял живым, у него и спрашивай про другого.

— Не могу. — В сухом коротком отрицании столько отчуждённости, что сестра готова предположить самое худшее, но Иван нехотя продолжает. — Гилберта уже забрали. Увезли.

— Вот как, — слова вырываются сами собой, в них нет ни осуждения, ни сожаления, лишь знак того, что информация принята к сведению. Лишь знание того, каким образом забирают, транспортируют и удерживают тех, чьи силы многократно превышают человеческие. Лишь смутные подспудные мысли о том, чьи допросы хуже: Ивана или его людей.

...их людей.

— Не вздумай упустить её, Ольга. Когда освободишь город, выпитай всё, что нужно.

Он помешался, сорвался с цепи. Возможное и невозможное в его теперешнем понимании не более чем вопрос времени, и неважны уже ни жертвы, ни усилия, ни последствия. Как будто несоизмеримое число потерь сделает цель ближе. Чёрт привёл стать сестрой такому брату.

— Будет сделано, — коротко отвечает Ольга и, не растрчиваясь на ненужные и бестолковые слова прощания, вешает трубку.

Через неделю Ольге сообщили о том, что Иван пропал без вести, что все сведения о ходе военных действий теперь в первую очередь будут проходить через неё, что она должна надавить и узнать, где он, что...

К середине февраля был освобождён Будапешт. В этой войне помимо прочих задач у каждого из них была ещё одна, особая: ловить себе подобных, удерживать, ослаблять — до тех пор, пока не станет безопасным отдавать их под надзор. Время торопило, не было никакой возможности задерживаться в городе: во что бы то ни стало нужно было двигаться дальше, искать. Но вот уже две с половиной недели как Елизавета Хедервари молчала, молчала по-разному: то так, будто что-то утаивает, то так, словно ей нечего сказать.

— Подъём! — скомандовала Ольга, нарочито громко затворяя за собой решётку камеры.
— Послеобеденный отдых кончился.

Она понимала, что говорит нелепицу: обедов сюда не подавали вот уже семнадцать дней, равно как завтраков и ужинов. Небрежно скинув жёсткое тонкое одеяло, Елизавета неспешно села, прислонившись спиной к стене. И было почти незаметно, как сведены от тюремной стылости плечи.

— Рассказывай, — без толики раздражения велела Ольга, устроившись на противоположных нарах. Из одного кармана форменной куртки она выудила складной нож, из другого — яблоко. Маленькое, плотное, чуть сморщившееся и настолько жёлтое, что казалось, будто светится куда ярче тусклой коридорной лампочки. Такое яблоко можно обнаружить в погребе под конец зимы, когда заканчиваются запасы и в пустующем помещении вдруг находишь его, укатившееся в сторону, притаившееся за корзиной. Такое яблоко выдаёт себя оглушительно сладким запахом прошлогодней осени, последних тёплых дней бабьего лета.

Они могли не есть очень долго, но отмахнуться от чувства голода не могли.

— Что рассказывать? — закрыв глаза, Елизавета лениво размяла шею. Как если бы слишком долго спала и от этого утомилась. Разумеется, она не покажет, насколько сильно хочет есть, и сочный яблочный запах не сделает её сговорчивее.

— Что угодно, — почти что беспечно и легкомысленно бросила в ответ Ольга, осторожно срезая тонкую полоску кожуры и отправляя её в рот. Так будет проще. К тому моменту, как яблоко будет съедено, их разговор закончится и она покинет Будапешт.

— Что я раскаиваюсь в содеянном? Что я теперь ненавижу Гитлера? Или что с радостью обращаюсь в вашу красную веру?

Ольга легко улыбнулась. Сочетание слов в последнем вопросе особенно понравилось бы брату.

Ещё один лоскуток кожуры был срезан.

— Об этом ты расскажешь потом соответствующим людям. Но если очень хочется, можешь начать сейчас.

Она не смотрела на пленницу, всё внимание было поглощено чисткой яблока. Ольга чувствовала пристальный взгляд, следящий за тем, как легко скользит лезвие под жёлтой кожей, как проступающий сок делает металл влажным и глянцевым, скапливается в ложбинке у тупого края. Ольга знала почти наверняка: Елизавета оценивает свои силы и думает о том, сможет ли отнять нож.

Но чем меньше кожуры оставалось на яблоке, тем сильнее оно пахло.

— Зачем? — наигранно удивилась Хедервари. — Можно сразу перейти к той части разговора, где ты будешь распекать меня за политические заблуждения, цитировать листовки и призывать к сотрудничеству.

Как будто она разгадала нехитрый замысел с яблоком, как будто поняла придаваемое ему значение. И, конечно же, в последнюю очередь беспокоилась о том, чтобы поберечь время.

— Я бы предпочла начать с сотрудничества, — немного помолчав, ответила Ольга. — Столица взята, то же ожидает прочие территории. Самое время задуматься, — она говорила спокойно и размеренно, покачивая в такт словам лезвием ножа, как если бы тот был карандашом или вязальной спицей. — Какой смысл бросать на смерть своих людей ради идей, которые тебе не очень-то и дороги?

— Кто бы говорил, — усмехнулась Елизавета и, кажется, хотела продолжить мысль, но замолчала. Лезвие ножа, замершее в её направлении, сейчас совершенно не походило на вязальную спицу.

— Можно договориться, — предложила Ольга, будто не заметив брошенного вызова. — Ты рассказываешь что-нибудь полезное, а в обмен на это твоему благоверному не будут травмировать пальцы и выворачивать руки. На нём, конечно, зарастёт как на собаке, но ты же знаешь, с каким пиететом он относится к своим конечностям.

— Да выворачивайте на здоровье, — хмыкнув, бросила в ответ Хедервари и, отстранившись от стены, села прямо, упершись руками в койку. Но почему-то не стала добавлять некогда привычное возражение о том, что Родерих давно уже не её благоверный.

Ольга не торопилась продолжать разговор. Она внимательно разглядывала Елизавету, насколько мог позволить тусклый свет в камере. Что изменилось и как это принимать? О чём говорят впившиеся в матрас бледные худые пальцы, и по какой причине сегодня они подрагивают от напряжения куда заметнее, чем вчера? Случайно ли теперь волосы у неё распущены так, что почти скрывают лицо, когда она поворачивает голову? И сами движения — медленные, осторожные. Ей казалось, что верное толкование подобных

мелочей может дать ответ на другой, куда более важный вопрос.

Почему она затеяла всё это, зачем согласилась? Новые земли, страх разделить участь Родериха? Или всё-таки тщательно скрываемое от самой себя нежелание терять его из виду? Не любовь, но нестираемое чувство заботы, вредная женская привычка, так часто подчиняющая против воли. Или...

— Что ты на меня смотришь? Чего ты хочешь? — Елизавета подалась вперёд, уцепившись за тощий матрас так, будто боялась сорваться в пропасть; в пустой тесной камере негромкий простуженный голос казался удивительно звучным. — Ждешь, когда я начну плакать и торговаться за сохранность этого идиота ценой собственной гордости?

— Да.

Подумать только, яблоки в феврале сорок пятого. От тягучей сладости мякоти сводило язык и горло.

Вздвогнув, Елизавета отвела взгляд. Не отступилась, не сдалась — собиралась с силами.

— Не меряй меня по себе, — проговорила она так тихо, что слова были едва слышны. — Сколько ты ещё будешь со мной возиться? Неделю? Две? Месяц? Будешь ждать указаний братца? А если нет уже никакого братца, если не будет больше никаких указаний, если о Людвиге ты выпрашиваешь только затем, чтобы тот привёл к телу?

Елизавета била словами наотмашь, с отчаянной злостью, как если бы они были последним непроверенным оружием, последним неверным козырем, который она всё это время берегла на самый отчаянный случай.

— Так что? Давай же, торгуйся. Предлагай амнистию в обмен на координаты, где зарыли твоего Ивана, предлагай мне...

Взмах. Стремительное короткое движение. Тишина. Прежде, чем Елизавета успела заметить и защититься, дёрнуться в сторону. Прежде, чем Ольга поняла, что делает. Кончик лезвия, уткнувшись в горло, замер, надрезав кожу. Прозрачный яблочный сок, смешиваясь с кровью, стекал вниз по шее, исчезая под истрепавшимся воротником кителя. Нужно было ответить, что она не в том положении, чтобы ставить условия. Стоило усмехнуться и предположить, что если эта пустая пламенная речь есть единственное, чем она располагает, то не было нужды и стараться. Сказать хотя бы что-то. Но слова не шли в голову. Была лишь пресловутая память рук, действующих прежде мысли. Лишь пустота, оставленная странной неконтролируемой яростью. И зелёные глаза этой проклятой девки, в которых нет страха, но есть замершее отчаяние, есть застывшее изумление, столь сильное, что они кажутся остекленевшими, мёртвыми. Сейчас Елизавета была так слаба и беззащитна, что Ольга боялась переступить черту. Не сдержаться и завершить начатое. Боялась того, чем всегда попрекала Ивана. Сначала думай, а потом делай. Думай. Останавливайся. Оглядывайся. Она мысленно повторяла это с детства, всякий раз, когда случалось видеть хмурого брата, которого Монгол таскал вместе с собой на сборы дани. Она неизменно твердила это тогда, когда Иван в очередной раз ввязывался в ненужную войну.

Думай, останавливайся, оглядывайся. Пальцы, стискивающие рукоятку ножа; рука, желающая продолжить движение. Ярость, запирающая мысли так глубоко, что в голове остаётся только жаркая темнота и смешанные обрывки воспоминаний. Глухая злость, остервенело рвущаяся наружу.

Ольга не помнила, как дёрнулась из-под лезвия Елизавета, как начала хохотать. Это был не её голос, смех родился сам собой в душном пространстве, в тесной пустоте тюремной камеры. Кровь, смазанная по горлу, налипшие волосы, разметавшиеся по плечам. В чём-то липком и вязком перепачканы пальцы левой руки — ошмётки раздавленного яблока валяются под ногами.

— Поверить не могу... — затихая, пробормотала Елизавета, прижимая ладонь к ране. — А я ведь просто позлить хотела... Вот ведь дура.

Бросив короткий взгляд на белую, размазанную по полу мякоть, она снова засмеялась, тихонько, осторожно, словно проверяя себя на прочность.

Отряхнув руку и вытерев о рукав лезвие, Ольга сложила нож и вышла из камеры. Тем же вечером она распорядилась, чтобы Елизавету Хедервари переместили как можно дальше от линии фронта, чтобы в составленном позднее протоколе допроса значилось: особо ценными сведениями не располагает.

Следующим утром Ольга покинула Будапешт.

Иван дал о себе знать только под конец войны, из Берлина. Позднее своё отсутствие он объяснил крайне важным и сверхсекретным заданием. Никто из вышестоящих его слова не опроверг.

III. Ожидания.

— Всё. Сама мозги вправляй этой чёртовой бабе. — Иван сидел на краю банкетки, терпеливо позволяя сестре делать перевязку. Наконец, их оставили вдвоём, и он мог позволить себе выпустить раздражение. — Убиваешься, стараешься с ней помягче, а она...

— Я, по-твоему, нравлюсь ей больше? — с сомнением усмехнулась Ольга и тут же добавила, стоило брату дёрнуться. — Сиди спокойно, балбес.

Но Иван тут же вскочил на ноги и излишне бодро, с неуместной беспечностью дёрнул только-только забинтованной рукой, пытаясь извернуться и влезть в форменную куртку. И каждое движение доказывало своей прерывистостью и незавершённостью: не надо, сестра, я сам; я сам справлюсь.

— Оль, не могу я. Не знаю, чего ей надо. Договорись тут, а я пойду.

Ольга, поднявшаяся было помочь, отступила к окну, делая вид, что разглядывает тревожное содержимое улицы. Она силилась разглядеть своё тонкое, бестелесное отражение, в неверности равное прозрачности стекла. Улица была напряжена, её каменное нутро клокотало от гула — комната ожидала, комната слушала. За спиной собирался Иван. Как и в детстве, когда надо было куда-нибудь поторопиться: спешно, но очень долго. Так тень, гонимая ходом солнца, бежит вокруг камня.

— Только помягче с ней, хорошо? Свяжись со мной, как закончишь.

Пауза.

— Оля.

Молчание расплзается по периметру комнаты. Говори уже, не томи.

— Оленька, дело не в том, правильно или неправильно то, что мы делаем. Война продолжается. Её нельзя потрогать, услышать или понюхать — она другая. Только вот поражение обернётся привычными вещами. Никто из вас не уйдёт, пока я жив. Остальное не важно.

Ольга кивнула, не оборачиваясь. Было слышно, как, оставив дверь открытой, уходит Иван. Смазанное эхо шагов в коридоре, по лестнице. Ещё одна дверь. Вот он уже идёт по тротуару; улица по-прежнему залита гулом, захлёстывающим Ивана с головой. Брат останавливается около машины, что-то приказывает — шофер кивает в ответ, расплескав солнечный блик по кокарде.

Хлопнула дверь машины; сухо кашлянув, ожил, завёлся мотор. В переплетении узких улиц — гул непогашенного, неутолённого восстания, всё никак не умеющий прекратить себя. Как воду в распутицу, земля вбирает его в себя медленно, неохотно, через силу. Какие всходы даст этот гул? Ольга лишь нахмурила брови да недовольно поправила воротничок. Пустой вопрос.

— На чём вы там с Иваном остановились? — с ходу, не размениваясь на приветствия, начала Ольга, едва зайдя в комнату.

— Мы как раз обсуждали нюансы моего нелепого домашнего ареста, но у твоего брата совершенно несвоевременно повредилась рука. Кстати, где он?

— Лизавета, не паясничай. Я не такая терпеливая, как Иван.

— А я не такая терпеливая, как ты, Ольга. Что бы вы с братом ни строили, не хочу в этом участвовать. Следовательно, не буду. И если для того, чтобы Брагинский понял, понадобится сломать ему все конечности, я это сделаю.

— Лиза, у нас нет времени, чтобы позволять себе заниматься, чем захочется.

— У меня нет времени, чтобы участвовать в вашем потешном противостоянии с Альфредом.

— Или ты просто хочешь сменить сторону.

— Совсем спятили. Помешались, оба. Это у вас семейное, не иначе. Какие стороны? Война закончилась, я вволю наигралась в эти самые цвета и стороны. Не моя вина, что до Брагинского можно достучаться, лишь заварив революцию. Я немногого требую. Дайте вздохнуть свободно.

Свободно. Ольга смерила Елизавету взглядом. Вот она сидит, опрятная, как всегда. Одета в летнее платье, не по погоде. На фоне разнузданности и жестокости последних дней её наряд выглядит почти празднично, отчего делается только тревожнее. Как ей это удаётся?

— Дыши, кто ж тебе мешает.

Разговор выйдет немощным, останется таковым до последней фразы, как сильно его ни растягивай. Всякий раз, когда где-то, словно пыль над дорогой, поднимается шепоток о свободе, сказанное вслух становится бездумным и гулким, словно эхо в колодце. Свободу нельзя вытребовать, получить в дар. Можно лишь взять самому. Правило, выверенное временем, гладкое, как вылизанный волной камень. Заученное с детства, оно казалось безусловным, но в последнее время всё чаще Ольге виделся в нём какой-то изъян. Вопросы независимости неизменно упираются в вопросы подчинения. Свобода не добывается из воздуха — её всегда отнимаешь у кого-то. Может, и прав Иван, решивший собрать всех в единое целое: в таком случае ни у кого не будет нужды дробить свободу, разрывать на куски. Один на один делится без остатка. Вот только как долго идти к этому единому целому? Как усмирить себя, как совладать с собой. Да и стоит ли?

— Нас зациклило, Ольга. Всякий раз одно и то же.

Кажется, Елизавета сама устала и от бестелесного разговора, и от восстания, жестокость которого превзошла её собственные ожидания.

— Вот только обстоятельства разные.

— Бог с ними, с обстоятельствами. Почему всякий раз Иван сваливает всё на тебя? Нет, не так. Почему ты всякий раз соглашаешься идти? Что такого сладкого в этом подчинении?

— Сотрудничество, не подчинение.

— Выходит, ты свободна и вольна сама за себя решать?

— Ты путаешь свободу со вседозволенностью.

— А ты? С чем путаешь свободу ты, Ольга?

В самом деле, с чем? Что удерживает её? Старшинство, ставшее почти что мнимым, воспоминания о былых временах, упрямство? Почему не бросить всё. Брат не отпустит. Но ведь и не убьёт. Рано или поздно она справится с этим дурацким уравнением свободы. Второй вариант решения есть всегда. Осталось его найти.

IV. Вопросы.

Раскачиваются дома, раскачиваются дороги и мосты. Раскачивается вода в каменном канале. Чёрная и густая нефть. Стылый воздух хватается за горло и тянет, тянет вниз в обволакивающие тёмные объятия. Они то поглощают, то выталкивают на поверхность. Вон там, под мостом, качается моё отражение. Или это отражение стоит на мосту, а внизу, в воде, лежу я? Где граница, где правила, где ориентиры? Куда всё это делось? Когда Иван-дурак становится Иваном-царевичем, и почему так выходит, что последний всегда глупее первого? Расскажи мне сказку, я не помню. Расскажи.

Всё разболтано — нелепая страна. Нелепая. Кто этот человек, что, качаясь, плетётся, не разбирая дороги? Не вперёд и не назад. Чёрт знает куда. Кто этот человек, что, как старик, шаркает ногами и хватается за стены домов? Заблудился, потерялся, пропал, и только следы от его ладоней на стенах. Смазанные долгие следы глупых стариковских рук.

Кто этот старик, мама? Разве это я, мама?

Разве это от меня несёт сивухой и вокзалами. Разве это я провонял насквозь кислым табаком и заплёванными дворами. Разве это я не могу вспомнить твой голос. Всё, всё позабыл, растерял, упустил, раздал, разве... как же всё шатается, Господи. Когда же оно всё развалится, Господи. Отпустите меня. Забирайте, тащите, жрите, что хотите. Только отпустите меня, наконец.

Короткий негромкий свист ударяет плетью, выдёргивает из душного марева истоптанных, исхоженных мыслей. Глазам никак не привыкнуть к вечернему жёлто-синему сумраку проходного двора. Как я здесь очутился? Канал, вода, отражение — где всё это? И было что-то ещё. Был голос. Чей? Чей-то.

Да, и свист. Свист. Послышалось? Вон чёрное окно, вон листом железа заколоченный вход в подвал, вон кусок дождевой трубы, а в ней — мусор; лампочка щурится из-за приоткрытой двери, на третьем этаже курят спиной к окну, да с крыши свесился кусок провода и болтается, трётся о стену.

Вот и всё.

Нет никого.

— Эй, дед! На бутылку хочешь заработать?

Под аркой, уводящей вглубь лабиринта дворов, человек. Глаза чёрные-чёрные. Блестят, будто маслом залиты. Поднеси спичку — вспыхнут. Сколько тебе лет: восемнадцать, тридцать? А может, ты и вовсе старше меня? Как будто могут быть другими дети, рождённые в мёртвой стране. Глаза — улыбаются. Поймать золотую рыбку, подстрелить голубя из рогатки, украсть велосипед под шумок. Не хочу я никакой водки, но всё же киваю. Шагаю навстречу послушно и доверчиво. Что-то давит, разрывается в мозгу.

Какой странный жуткий вечер. Откуда он на меня свалился?

— Слышь, Костик, может, ну его на фиг, а? Больной он какой-то.

— Пасть закрой. Страшно — домой вали, не держу.

Второй, который не Костик, — то ли он есть, то ли его нету. Останавливаюсь в нескольких шагах, но никак не могу разглядеть. То ли есть, то ли нет.

— Да ты не бойся, дед, ближе подходи. Дело у меня.

Скалится. Достает из мятой пачки две сигареты: одну себе, другую мне. Протягивает с интересом и ожиданием. Так люди кормят животных в зоопарке: возьмёт, не возьмёт? Или городских птиц. Что пересилит: страх или голод?

Страх или голод, или голод, или страх, или...

Крутится волчком, свербит.

Где заканчивается одно, где начинается другое? А сигареты паршивые: кислый вкус расплзается по языку и лезет в глотку. Костик то и дело сплёвывает под ноги. Чаше, чем затягивается.

— В общем, так, — начинает он, растирая окурочок о стену, — идёшь вон в ту парадную, поднимаешься на четвёртый этаж. Десятая квартира, дверь красная, не заперто. Там девка на кухне, на полу лежит. Рядом ножик валяется. Сходишь, значит, протрёшь ножик. Водку в холодильнике найдёшь. Всё понял?

— Четвёртый этаж, десятая квартира, красная дверь, нож на кухне, помыть.

Слова обесмысливаются, не успевая вылезти изо рта. Голос сиплый и неуверенный, как у глухого. Мой. Костик хлопает по плечу, подталкивает вперёд. Шаг, другой, третий. Далее. Происходящее (произошедшее?) не желает пересекаться в одной точке. Есть лишь направление, есть лишь перемещение. От одного заданного ориентира к другому. Скрипит дверь в парадную. Тяжёлый темный воздух. Что-то серое и мелкое копошится в углу. Каменные ступени сглажены, перила липнут; четыре пролёта. Серо-жёлтая лампочка, красная дверь. Все остальные коричневые, а эта красная. Почему красная? На что похож этот цвет? Что-то важное. Что? В самом деле, не заперто. Навалена обувь: детские ботинки, женские сапоги, мужские туфли, тапочки, — сажусь на тумбочку. Шнурки сваялись в колтун и не поддаются пальцам. Грязная мелкая пыль взмывается в воздух — правый ботинок звучно шлёпается...

— Это что... дед, рехнулся, что ли?

Чёрные-чёрные глаза... опять он? Нет, растерянные, непонимающие. Раскрасневшиеся. В коридоре, в двух шагах — девушка, жмётся к стене. Дрожит. Холодно? Отвожу взгляд и смотрю на ногу. Она куда грязнее и страшнее ботинка. Не стоило, наверное, разуваться. Но пальцы снова копошатся со шнурками, и вот я уже стою перед ней — босой, обросший. Невысокая, черноволосая, угловатая. Кутается в халат. В желтоватом свете коридора

белеют костяшки пальцев. Смушение душит, сдавливает горло — не знаю, куда девать руки. Тяжёлые, грубые, почерневшие.

— Тут девушка, на кухне. Надо нож помыть. Как пройти?

Вмиг её глаза вспыхивают яростью, злостью.

— Ну, Костик. Ну ты и сука, братец...

С отчаянием повторяя снова и снова, как молитву, девушка проносится мимо и, в чём была, бросается за дверь. «Ну, братец. Ну, сука...» — продолжает шептать эхом лестничная клетка, провожая стремительный топот.

На кухне никого. Стол в крошках, посуда не мыта. Слипшиеся серые макароны в кастрюле. Грохот двери заполняет гулкой каменный двор. Кричит девушка. Ржёт Костик и этот второй, которого нет. Слова смешиваются с матом, всхлипами, смехом.

— Не, секи: ради водяры чего только ни сделают...

— Скотина, когда ж ты уймёшься...

— ...а дед-то куда делся, Костик?

— Не дед, отец ушёл, я же говорил.

— Сволочь, гнида...

— Да не, тот, полоумный.

Дурдом какой-то.

— Ой, дядь, а ты кто? Бомж?

Что за чёрт? В дверях кухни — та же самая девушка. Только маленькая. Девочка, лет пяти.

— Дядь, ты воровать пришёл? — сонно и неуклюже приглаживает волосы.

— Нет. Зачем воровать?

— Так сестра говорит

— Как говорит?

— Так и говорит: все воруют, — осмелев, прошмыгивает мимо меня к столу, на стул. Выуживает из кастрюли несколько макаронин. Поспешно глотает. Как будто я отниму. — А Костик говорит, что она дура, чтобы дверь научилась закрывать, потому что он уже не вернётся.

— Кто не вернётся?

— Не знаю. Кто-то не вернётся.

— Вот оно что. Пойду я.

Что же это такое, что случилось с людьми? Брошенные, неприкаянные, доживающие — кто изломал их, я? Какой долгий город. Какая долгая ночь. В которой стороне здесь день?

— *СЫНОК*, тебе плохо?

— Что?.. Нет. Не знаю. Всё хорошо.

Женщина лет пятидесяти, невысокая, с неприметным лицом. На старом обтрепанном поводке — собака. Дворняжка, такая же неприметная. Стоит, вывалив язык, глядит то на хозяйку, то на меня.

— Давно тебя видно не было. Уж, думала, убили или случилось что.

— Убили? Почему убили?

В глазах чудно перемешались и ласка, и жалость, и насмешка.

— Время такое...

— Смутное.

— Да просто — мутное. Ваня, ты меня не узнал, что ли?

— Не узнал. Что вы здесь делаете? Ночь ведь.

— Мы в одной парадной с тобой живём. А тебя дома гости ждут.

Как, ждут? Кто ждёт? Где, дома?.. дома — это где? Странная женщина, сумасшедшая какая-то. Собака ещё эта. Быть того не...

Как тяжело ходит воздух в лёгких. Больно. Куда это я прибежал? Кажется, здесь я и жил. Когда-то давно, ещё до того, как исчезла из-под ног земля, а из-под головы — небо. Вот свет на четвёртом этаже. Страх ползёт по спине, забираясь под кожу на затылке. Страшно. Впервые за долгое время — страшно. А если там нет никого? А если просто забыл погасить свет? Может, там давно уже живут посторонние люди. Страх тянет за шиворот назад, в подворотню, из подворотни — в слепой переулок. И далее — прочь. Качнулась земля — под рукой грязная стена. Окно. Неужели вернулся? Или не уходил никуда. Окно. Силуэт. Ключи в почтовом ящике. Три пролёта. Лестничная клетка. Каким неповоротливым сделался замок. Тело действует самостоятельно, отдельно от мечущихся мыслей, сбивчиво, трусливо убеждающих в том, что всё это ненастоящее, привидевшееся.

Куртка грязной бесформенной горой свалена на пол, потёртый старый паркет продавливается под ногами: три шага вперёд (два быстрых, один короткий), затем — влево. Электрический свет размыт стеклом двери.

Распахивается.

Ольга оборачивается и замирает.

Словно не видела меня внизу, на улице; словно не слышала, как открывается дверь; словно не узнала по шагам. Всегда узнавала. Всегда удивлялась и смеялась. Как такой толстый мальчик может ходить аккуратней и тише тощей девочки. Оля.

Я замираю в шаге от неё. Ноги не движутся. Я весь — не движусь. Не могу подойти ближе. Не могу протянуть руку и коснуться. Пальцы грязные и неловкие, неживые. Как можно такими коснуться живого человека? Зачем ты вернулась? Почему сейчас? Почему ты здесь? Почему ушла? Вещи, оставленные, позабытые впопыхах, всё ещё лежат на прежних местах и помнят твоё присутствие. Каждый что-нибудь, да оставил. Но никто не вернулся. И вещи вырастают в столы, в полки, в шкафы, в прошлое. Вырастают надёжно, хватко въедаются в голову, заставляя болеть, проламывая насквозь. Их уже не оторвать. Что тебе надо, сестра? Что?!

Как же стены гудят. Нельзя так кричать. Плохо.

— Ваня, ты почему босой?

Голос сдавленный. Кто тебя душит?

— Это я, Вань. Оля.

Ты вернулась? Вопрос вырвался сам собой, вспорол изнутри брюхо и грудь. Вырвался, оставив после себя лишь расхристанную тишину. Что же ты молчишь? Отвечай. Не молчи, не смотри так страшно, будто хочешь закричать, но боишься, что я рассвирепею. Хочется вырваться, вывернуться из чужой грязной кожи. Саднит вспоротое брюхо. Зачем спросил?

— Вань...

Не прикасайся, Оленька, испачкаешься.

Какие у тебя мягкие ладони, сестра. Как хорошо ты пахнешь. Как в детстве, когда я, провонявший дымом, сбежал от Монгола. Твои руки пахли хлебом, и ты рассказывала сказки про то, как нашли управу и на змея, и на разбойника, и на лихого человека. Глупые детские сказки. Потом меня находили и волокли назад. Но твои сказки всегда оборачивались правдой. Даже самые нелепые. Расскажи, Оля, я так давно ничего не слышал.

— Вань, тебя все ищут.

Зачем? Мне больше нечего отдавать. Разве вы ничего не взяли? Тогда почему везде так пусто? И внутри, и снаружи. И в голове, и на улице. Не надо меня гладить. Я только-только начал тебя забывать. Оставь.

— Глупый. Всё у тебя через край.

Нет края. И середины нет. Без людей нет пространства, без людей есть пустота. За что все вы так любите эту пустоту, сестра?

— Не бывает так, чтобы на всю жизнь вместе или на всю жизнь врозь. Никого не победить навсегда. Никого не удержать навечно.

Пусто. Как пусто. Что осталось, что?

— Ваня, нам необязательно жить под одной крышей, чтобы оставаться вместе, одной семьёй.

Всякий раз, когда кто-то из нас уходит из дома, случается беда. Нам нельзя врозь. А вы всё рвётесь и рвётесь наружу, будто тут чума. Рвётесь, ломаете стены. Ведь есть двери, а вы ломаете стены...

— Я не требую у тебя свободы, я хочу, чтобы ты понял, что я уже свободна. Давно, Ваня. Постарайся к этому привыкнуть.

Олино воркование становится всё тише. Свет — всё глуше; лампочка кухни плывёт в черноту, вверх. Как спокойно, темно, тепло. Олины руки на плечах, гладят по волосам, по щекам. Всё говорит и говорит. А голос уступчивый, виноватый. Отчего же ты извиняешься? Ни слова ни разобрать. Слышу, да не понимаю. Что это, складная глупость? Ещё одна сказка? Ольга? Оля? Оленька. Как же хочется спать.

Десять тысяч километров дорог назад был тот дом, тот разговор, та женщина. Ведь были?

...

— Фамилия, имя, отчество.

— Брагинский... Иван... Иванович?

— Год рождения.

— Не помню.